
ЗАВЕТНАЯ КНИГА

В год 100-летия со дня рождения Виктора Петровича Астафьева хочется сказать одно-единственное: Астафьев является коренным и великим русским писателем и одним из главных художников послевоенной эпохи. Книга «Последний поклон» — наверное, самая главная, бесспорная и, как он сам говорил, «заветная» книга автора, горячо любимая читателями. Писалась она с 1957 по 1991 год и окончательно сложилась в трёх книгах, состоящих из 32 рассказов. Писатель начинал писать её, ещё не зная, что она выльется в большое и цельное повествование, которое он назовёт «повестью в рассказах».

По выражению моего друга журналиста из Красноярска Игоря Костикова — «Последний поклон» — это книга книг Виктора Петровича Астафьева, его поле, его вселенная, из которой смотрит на нас человек, переживший тяжелейшее и ярчайшее детство и уцелевший на войне. Именно оттуда, из Овсянки своего детства, глядит он на мир, и ни Игарский север, ни война не переродили и не сломили его — он так и остался тем мальчиком, что бродит по таёжным сопкам в поисках детского счастья, мамы, покосного молочка из бутылочки... Он словно потерявшийся Петенька из рассказа «Мальчик в белой рубахе», но только не потерялся, а вышел к нам со своей книгой, пронизанной любовью к своей крестьянской вселенной, прекрасной, уходящей и достойной длиться в другом, более счастливом измерении. В книге очень много любви к земле и к людям, сострадания, надежды и чувства, что жизнь этих людей могла быть намного радостней. Астафьев всё мерит этой Овсянкой детства. Именно поэтому его так много в нынешнем мире оскорбляло и настолько многое он считал губительным для мира того, исконного, единственного, своего. Астафьев всегда говорит о самом дорогом ему, и эта книга-завет, говорящая — вот она, ваша земля, ваш уклад, берегите их, ведь русский человек так прекрасно задуман Богом! И именно из этой книги растут как побеги и другие произведения Астафьева, именно эта книга и есть хрестоматия Енисейского мира Виктора Петровича, в которую приходишь и уже не представляешь себя без неё, если ты русский.

В повести каждая отдельная глава представляет собой самостоятельное художественное целое — не зря такие шедевры, как «Конь с розовой гривой» или «Осенние грусти и радости» давным-давно воспринимаются как просто «рассказы Астафьева», а не часть «какой-то там книги». Представьте себе тридцать два рассказа, тридцать две драматургии, тридцать два художественных чуда! А главное — какой труд стоит за всем этим — это не склёпанный за год романец очередного нынешнего «новоиспечёнца» с одной историей, растянутой на сотни страниц жвачки!

Помню школьником слушал по радио «Монаха в новых штанах», ещё и не подозревая не только о существовании «Последнего поклона», но и писателя Астафьева. Давно это было...

И вот только что перечитал «Осенние грусти и радости» и «Ангел-хранитель»... Последний раз погружался в эти рассказы лет семь назад, поэтому перечитывал с волнением, которое бывает в преддверии встречи с дорогим произведением после перерыва. Когда боишься, что либо сам зачерствел, либо, как бывает особенно при возврате к юношеской литературе — непоправимо изменился чтением, как кажется, более сложных книг, и смотришь на давешний восторг с сожалением и почти жалостью. С Виктором Петровичем конечно же не тот случай, но волнение... имелось.

Закрыв книгу... Долго сидел да думал... О чём?

Да о любви... О жертвенности русской женщины, о боли маленького человека, который с младенчества сам, как незарастающий шов, разверстый небесам... О Витьке с его ревматизмом и прочими хворями, уже заранее меченом и контуженном словно под аванс будущих испытаний... И о том, что от этой ранней затеси на юном ещё деревце рвётся на части бабушкино сердце. И об удивительной гармонии, соединении этих двух существ, сплавленных любовью... О том, что из них двоих только бабушка знает, как любовь эта навалится на Витю, когда бабушка уйдёт. Когда он вырастет, и будет уже поздно. И останется только видеть бабушку во снах, просыпаясь каждый раз в слёзном ошеломлении и не в силах выносить этот сердечный надрыв, тешить себя слабой надеждой хоть на бумаге выразить то, что не выразимо...

Какой русский мальчик не всплакнёт о бабушке, особенно если дед с войны не пришёл... Как много дали нам эти бабушки — даже и при живых-то родителях, которые вечно на работе... А главное — кому-кому, а бабушкам-то есть что сказать-передать внукам.

Невозможно разбирать эти рассказы, потрошить их филологически и культурологически, да и не нужно. Любовь и боль равно заливают все страницы книги и вызывают сильнейшее сострадание уже к самому писателю, и желание обнять его, утешить неутешного, разделив горе, как горькую предвоенную краюху... И поклониться художнику, подставить плечо под неизбывность этой русской боли и доли.

А мой любимый рассказ — «Конь с розовой гривой». Решил почитать, что пишут о нём сегодня, и обнаружил методичку, предназначенную для учителей, изучающих со школьниками этот рассказ. В разделе «чему учит нас произведение» было сказано, что рассказ учит мысли о том, что всякий обман всегда раскрывается и что нужно не бояться говорить правду. Ни слова более: ни что это — великий православный рассказ том, как зло обрывается Добром. Ни что многовековая эта мораль ставит его в один ряд с высочайшими произведениями нашей литературы XX века.

Потом читал детские и взрослые комментарии к самому рассказу — кто-то его понял, кто-то нет, многие конечно же снова увидели в нём «противообманную» направленность, но что главное — вердиктом «в конце всплакнула» заканчивались многие отзывы. И стало легче...

«Случись это теперь, я бы ползком добрался от Урала до Сибири, чтобы закрыть бабушкины глаза, отдать ей последний поклон. И живёт в сердце вина, гнетущая, тихая, вечная. Винаватый перед бабушкой, я пытаюсь воскресить её в памяти, поведать о ней другим людям, чтоб в своих бабушках и дедушках, близких и любимых людях, отыскали они её, и была бы её жизнь беспредельна и вечна, как вечна сама человеческая доброта...»

Прости Господи... И упокой душу рабы Божьей Катерины, раба Божьего Виктора.

Юбилей — это не речи и не застолья. Это повод вспомнить дорогого писателя со всеми его противоречиями и исканиями, посмотреть на происходящее его глазами, рассказать детям о них, о глазах этих! И понять, что просит он об одном — очнуться наконец, вспомнить, что слышит он каждый наш шаг на этой земле, каждое слово... И просит не пересудов, а молитвы.

Закончу словами Валентина Григорьевича Распутина: *«Это страницы, которые не нуждаются ни в каких оценках, это уже некое Вознесение письма, будто самостоятельное за труды Ваши,*

и осияние его. “Аще не будете как дети, не войдёте в Царство Божие”. Это и к “Гори, гори ясно” относится, туда прежде всего. А ещё я думаю, что теперешняя наша русская литература должна поставить памятник нашим бабушкам...

Каждый из нас если не на бумаге, то в памяти должен бить и бить свои последние поклоны. Хорошо, что Вы сделали это на бумаге, подвигнув на благодарную память многие тысячи людей, которые... без Вашей силы и искренности, без Вашего магнетизма и не удосужились бы на эту память». 27 февраля 1978 г. Вспомним.

*Михаил Тарковский, писатель,
главный редактор альманаха «Енисей» (г. Красноярск)*

КНИГА ПЕРВАЯ

ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ СКАЗКА

На задворках нашего села среди травянистой поляны стояло на сваях длинное бревенчатое помещение с подшивом из досок. Оно называлось «мангазина», к которой примыкала также завозня, — сюда крестьяне нашего села свозили артельный инвентарь и семена, называлось это «общественным фондом». Если сгорит дом, если сгорит даже все село, семена будут целы и, значит, люди будут жить, потому что, покудова есть семена, есть пашня, в которую можно бросить их и вырастить хлеб, он крестьянин, хозяин, а не нищеврод.

Поодаль от завозни — караулка. Прижалась она под каменной осыпью, в заветрии и вечной тени. Над караулкой, высоко на увале[1]*, росли лиственницы и сосны. Сзади нее выкуривался из камней синим дымком ключ. Он растекался по подножию увала, обозначая себя густой осокой и цветами таволги в летнюю пору, зимой — тихим парком из-под снега и куржаком[2] по наползавшим с увалов кустарникам.

В караулке было два окна: одно подле двери и одно сбоку в сторону села. То окно, что к селу, затянуло расплотившимися от ключа черемушником, жалицей[3], хмелем и разной дурниной[4]. Крыши у караулки не было. Хмель запеленал ее так, что напоминала она одноглазую косматую голову. Из хмеля торчало трубой опрокинутое ведро, дверь открывалась сразу же на улицу и стряхивала капли дождя, шишки хмеля, ягоды черемухи, снег и сосульки в зависимости от времени года и погоды.

Жил в караулке Вася-поляк. Роста он был небольшого, хром на одну ногу, и у него были очки. Единственный человек в селе, у которого были очки. Они вызывали пугливую учтивость не только у нас, ребятишек, но и у взрослых.

Жил Вася тихо-мирно, зла никому не причинял, но редко кто заходил к нему. Лишь самые отчаянные ребятишки украдкой заглядывали в окно караулки и никого не могли разглядеть, но пугались все же чего-то и с воплями убегали прочь.

* Здесь и далее цифры в квадратных скобках — номер примечания в конце книги. *Примеч. ред.*

У завозни же ребятишки толкались с ранней весны и до осени: играли в прятки, заползали на брюхе под бревенчатый въезд к воротам завозни либо хоронились под высоким полом за сваями, и еще в сусеках прятались; рубились в бабки, в чику. Тес подшива был избит панками — битами, налитыми свинцом. При ударах, гулко отдававшихся под сводами завозни, внутри нее вспыхивал воробьиный переполох.

Здесь, возле завозни, я был приобщен к труду — крутил по очереди с ребятишками веялку и здесь же в первый раз в жизни услышал музыку — скрипку...

На скрипке редко, очень, правда, редко, играл Вася-поляк, тот загадочный, не из мира сего человек, который обязательно приходит в жизнь каждого парнишки, каждой девчонки и остается в памяти навсегда. Такому таинственному человеку вроде и полагалось жить в избушке на курьих ножках, в морхлом месте, под увалом, и чтобы огонек в ней едва теплился, и чтобы над трубою ночами по-пьяному хохотал филин, и чтобы за избушкой дымился ключ, и чтобы никто-никто не знал, что делается в избушке и о чем думает хозяин.

Помню, пришел Вася однажды к бабушке и что-то спросил у нее. Бабушка посадила Васю пить чай, принесла сухой травы и стала заваривать ее в чугушке. Она жалостно поглядывала на Васю и протяжно вздыхала.

Вася пил чай не по-нашему, не вприкуску и не из блюдца, прямо из стакана пил, чайную ложку выкладывал на блюдце и не ронял ее на пол. Очки его грозно посверкивали, стриженная голова казалась маленькой, с брюковку. По черной бороде полоснуло сединой. И весь он будто присолен, и крупная соль иссушила его.

Ел Вася стеснительно, выпил лишь один стакан чаю и, сколько бабушка его ни уговаривала, есть больше ничего не стал, церемонно откланялся и унес в одной руке глиняную кринку с наваром из травы, в другой — черемуховую палку.

— Господи, Господи! — вздохнула бабушка, прикрывая за Васей дверь. — Доля ты тяжкая... Слепнет человек.

Вечером я услышал Васину скрипку.

Была ранняя осень. Ворота завозни распахнуты настезь. В них гулял сквозняк, шевелил стружки в отремонтированных для зерна сусеках. Запахом прогорклого, затхлого зерна тянуло в ворота. Стайка ребятишек, не взятых на пашню из-за малолетства, играла в сыщиков-разбойников. Игра шла вяло и вскоре совсем затухла.

Осенью, не то что весной, как-то плохо играется. Один по одному разбрелись ребятишки по домам, а я растянулся на прогретом бревенчатом въезде и стал выдергивать проросшие в щелях зерна. Ждал, когда загремят телеги на увале, чтобы перехватить наших с пашни, прокатиться домой, а там, глядишь, коня сводить на водопой дадут.

За Енисеем, за Караульным быком, затемнело. В распадке[5] речки Караулки, просыпаясь, мигнула раз-другой крупная звезда и стала светиться. Была она похожа на шишку репья. За увалами, над вершинами гор, упрямо, не по-осеннему тлела полоска зари. Но вот на нее скоротечно наплыла темнота. Зарю притворило, будто светящееся окно ставнями. До утра.

Сделалось тихо и одиноко. Караулки не видно. Она скрывалась в тени горы, сливалась с темнотою, и только зажелтевшие листья чуть отсвечивали под горой, в углублении, вымытом ключом. Из-за тени начали выкруживать летучие мыши, попискивать надо мною, залетать в распахнутые ворота завозни, мух там и ночных бабочек ловить, не иначе.

Я боялся громко дышать, втиснулся в зауголок завозни. По увалу, над Васиной избушкой, загрохотали телеги, застучали копыта: люди возвращались с полей, с заимок, с работы, но я так и не решился отклеиться от шершавых бревен, так и не мог одолеть накавшего на меня парализующего страха. На селе засветились окна. К Енисею потянулись дымки из труб. В зарослях Фокинской речки кто-то искал корову и то звал ее ласковым голосом, то ругал последними словами.

В небо, рядом с той звездой, что все еще одиноко светилась над Караульной речкой, кто-то зашвырнул огрызок луны, и она, словно обкусанная половина яблока, никуда не катилась, бескорая, сиротская, зябко стекленела, и от нее стекленело все вокруг. Он завозни упала тень на всю поляну, и от меня тоже упала тень, узкая и носящая.

За Фокинской речкой — рукой подать — забелели кресты на кладбище, скрипнуло что-то в завозне — холод пополз под рубаху, по спине, под кожу, к сердцу. Я уже оперся руками о бревна, чтобы разом оттолкнуться, полететь до самых ворот и забренчать щеколдой так, что проснутся на селе все собаки.

Но из-под увала, из сплетений хмеля и черемух, из глубокого нутра земли возникла музыка и пригвоздила меня к стене.

Сделалось еще страшнее: слева кладбище, спереди увал с избушкой, справа жуткое займище за селом, где валяется много белых костей и где давно еще, бабушка говорила, задавился человек, сзади темная завозня, за нею село, огороды, охваченные чертополохом, издали похожим на черные клубы дыма.

Один я, один, кругом жуть такая, и еще музыка — скрипка. Совсем-совсем одинокая скрипка. И не грозитя она вовсе. Жалуются. И совсем ничего нет жуткого. И бояться нечего. Дурак-дурачок! Разве музыки можно бояться? Дурак-дурачок, не слушал никогда один-то, вот и...

Музыка льется тише, прозрачней, слышу я, и у меня отпускает сердце. И не музыка это, а ключ течет из-под горы. Кто-то припал к воде губами, пьет, пьет и не может напиться — так иссохло у него во рту и внутри.

Видится почему-то тихий в ночи Енисей, на нем плот с огоньком. С плота кричит неведомый человек: «Какая деревня-а-а?» — Зачем? Куда он плывет? И еще обоз на Енисее видится, длинный, скрипучий. Он тоже уходит куда-то. Сбоку обоза бегут собаки. Кони идут медленно, дремотно. И еще видится толпа на берегу Енисея, мокрое что-то, замытое тиной, деревенский люд по всему берегу, бабушка, на голове волосья рвущая.

Музыка эта рассказывает о печальном, о болезни вот о моей говорит, как я целое лето малярией болел, как мне было страшно, когда я перестал слышать и думал, что навсегда буду глухим, вроде Алешки, двоюродного моего брата, и как являлась ко мне в лихорадочном сне мама, прикладывала холодную руку с синими ногтями ко лбу. Я кричал и не слышал своего крика.

В избе всю ночь горела повернутая лампа, бабушка показывала мне углы, светила лампой под печью, под кроватью, мол, никого нету.

Еще вот девочку помню, беленькую, смешливую, рука у нее сохнет. Обозники в город ее везли лечить.

И опять обоз возник.

Все он идет куда-то, идет, скрывается в студеном тумане, в морозном тумане. Лошади все меньше, меньше, вот и последнюю скрал туман. Одиноко, как-то пусто, лед, стужа и неподвижные темные скалы с неподвижными лесами.

Но не стало Енисея, ни зимнего, ни летнего; снова забила живая жилка ключа за Васиной избушкой. Ключ начал полнеть, и не

один уж ключ, два, три, грозный уже поток хлещет из скалы, катит камни, ломает деревья, выворачивает их с корнями, несет, крутит. Вот-вот сметет он избушку под горой, смоем завозню и обрушит все с гор. В небе ударят громы, сверкнут молнии, от них вспыхнут таинственные цветы папоротника. От цветов зажжется лес, зажжется земля, и не залить уже будет этот огонь даже Енисеем — ничем не остановить страшную такую бурю!

«Да что же это такое?! Где-же люди-то? Чего же они смотрят?! Связали бы Васю-то!»

Но скрипка сама все потушила. Снова тоскует один человек, снова чего-то жаль, снова едет кто-то куда-то, может, обозом, может, на плоту, может, и пешком идет в дали дальние.

Мир не сгорел, ничего не обрушилось. Все на месте. Луна со звездой на месте. Село, уже без огней, на месте, кладбище в вечном молчании и покое, караулка под увалом, объятая отгорающими черемухами и тихой струной скрипки.

Все-все на месте. Только сердце мое, занявшееся от горя и восторга, как встрепенулось, как подпрыгнуло, так и бьется у горла, раненное на всю жизнь музыкой.

О чем же это рассказывала мне музыка? Про обоз? Про мертвую маму? Про девочку, у которой сохнет рука? На что она жаловалась? На кого гневалась? Почему так тревожно и горько мне? Почему жалко самого себя? И тех вон жалко, что спят непробудным сном на кладбище. Среди них под бугром лежит моя мама, рядом с нею две сестренки, которых я даже не видел: они жили до меня, жили мало, — и мать ушла к ним, оставила меня одного на этом свете, где высоко бьется в окно нарядной траурницей чье-то сердце.

Музыка кончилась неожиданно, точно кто-то опустил властную руку на плечо скрипача: «Ну хватит!» На полуслове смолкла скрипка, смолкла, не выкрикнув, а выдохнув боль. Но уже, помимо нее, по своей воле другая какая-то скрипка взвивалась выше, выше и замирающей болью, затиснутым в зубы стоном оборвалась в поднебесье...

Долго сидел я в уголке завозни, слизывая крупные слезы, катившиеся на губы. Не было сил подняться и уйти. Мне хотелось тут, в темном уголке, возле шершавых бревен, умереть всеми заброшенным и забытым. Скрипки не было слышно, свет в Васиной избушке не горел. «Уж не умер ли Вася-то?» — подумал я и осторожно пробрался к караулке. Ноги мои вязнули в холодном и вязком черноземе, размоленном ключом. Лица моего коснулись цепкие, всегда студе-

ные листья хмеля, над головой сухо зашелестели шишки, пахнущие ключевой водою. Я приподнял нависшие над окошком перевитые бечевки хмеля и заглянул в окно. Чуть мерцая, топилась в избушке прогоревшая железная печка. Колеблющимся светом она обозначала столик у стены, топчан в углу. На топчане полулежал Вася, прикрывши глаза левой рукой. Очки его кверху лапками валялись на столе и то вспыхивали, то гасли. На груди Васи покоилась скрипка, длинная палочка-смычок была зажата в правой руке.

Я тихонько приоткрыл дверь, шагнул в караулку. После того как Вася пил у нас чай, в особенности после музыки, не так страшно было сюда заходить.

Я сел на порог, не отрываясь глядел на руку, в которой зажата была гладкая палочка.

— Сыграйте, дяденька, еще.

— Что тебе, мальчик, сыграть?

По голосу я угадал: Вася несколько не удивился тому, что кто-то здесь есть, кто-то пришел.

— Что хотите, дяденька.

Вася сел на топчане, повертел деревянные штыречки скрипки, потрогал смычком струны.

— Подбрось дров в печку.

Я исполнил его просьбу. Вася ждал, не шевелился. В печке щелкнуло раз, другой, прогоревшие бока ее обозначились красными корешками и травинками, качнулся отблеск огня, пал на Васю. Он вскинул к плечу скрипку и заиграл.

Прошло немалое время, пока я узнал музыку. Та же самая была она, какую слышал я у завозни, и в то же время совсем другая. Мягче, добрее, тревога и боль только угадывались в ней, скрипка уже не стонала, не сочилась ее душа кровью, не бушевал огонь вокруг и не рушились камни.

Трепетал и трепетал огонек в печке, но, может, там, за избушкой, на увале засветился папоротник. Говорят, если найдешь цветок папоротника — невидимкой станешь, можешь забрать все богатства у богатых и отдать их бедным, выкрасть у Кошея Бессмертного Василису Прекрасную и вернуть ее Иванушке, можешь даже пробраться на кладбище и оживить свою родную мать.

Разгорелись дрова подсеченной сухостоины[6] — сосны, накалилось до лиловости колено трубы, запахло раскаленным деревом, вскипевшей смолой на потолке. Избушка наполнилась жаром и груз-